



**Прот. Г. ФЛОРОВСКИЙ**

**Пути русского богословия**

**<К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ>**

**10.** Политический поворот с начала 80-х годов сразу же сказался и в церковных делах. Главным идеологом и вдохновителем нового «обратного хода», новой охранительной политики, «главным ретроградом» и был на этот раз обер-прокурор Свят. Синода, незадолго пред 1-м марта назначенный К. П. Победоносцев (1827—1907). Его имя — символ эпохи... Есть что-то призрачное и загадочное во всем духовном образе Победоносцева. «И только тень огромных крыл», очень удачно о нем сказал Блок. Он был очень скрытен, в словах и в действиях, и в его «пергаментных речах» было трудно расслышать его подлинный голос. Он всегда говорил точно за кого-то другого, укрывался в условном благозвучии и благообразии очень и очень размеренных слов. Свои книжечки и книги он имел обыкновение издавать безымянно, точно он их издает или составляет, точно в них он передает или излагает чьи-то чужие мнения и мысли. Эта условная псевдонимность для него очень характерна. Он был враг личного творчества... Победоносцев по-своему был народником или почвеником. Это сблизило его с Достоевским. «У меня был для него отведен час, в субботу после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говорили долго и много за полночь»... Но вдохновение Достоевского было Победоносцеву духовно чуждо. И образ пророка скоро померк в его холодной памяти... Народником Победоносцев был не в стиле романтиков или славянофилов, скорее в духе Эдм. Бёрка, и без всякой метафизической перспективы. Очень многое в его критике западной цивилизации и прямо напоминает контрреволюционные апосторофы Бёрка. Победоносцев верил в прочность патриархального быта, в растительную мудрость народной стихии, и не доверял личной ини-

циативе. Он верил в просто народ, в силу народной простоты и первобытности, и не хотел разлагать эту наивную целостность чувства ядовитой прививкой рассудочной западной цивилизации. «Народ чует душой». И это чутье воплощается в преданиях и обрядах. К ним Победоносцев не хотел бы прикасаться испытующим сомнением мысли, — в представлении Победоносцева мысль всегда сомневается, всегда разлагает, никогда не творит. И лучше молчать, и хранить даже суеверие, ибо в них есть эта первичная энергия жизни. Победоносцева радовало и удовлетворяло вполне, что «во всех этих невоспитанных умах воздвигнут *неизвестно кем* алтарь *Неведомому* Богу». Он любил растворяться в народной толпе, «исчезать со своим я в этой массе молящегося народа». И его совсем не смущало, что слишком многие в этой молящейся толпе не могут сознательно следить за словами церковной службы. «Народ не понимает *решительно ничего* ни в словах службы церковной, ни даже в “отче наш”, повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы». Но ведь истина постигается не разумом, но верою, «стоящею выше всех теоретических формул и выводов разума». «Самые драгоценные понятия», настаивает Победоносцев, «находятся в самой глубине воли и в *полумраке*»... Есть что-то от позитивизма в этом непримиримом отталкивании Победоносцева от всякого рассуждения. Умозаключениям он всегда противопоставляет «факты». Обобщений он избегает не без иронии, и отвлеченных идей боится. Мысль убивает, замораживает жизнь. Его ученый курс гражданского права очень удачно называли «межевым планом» X-го тома. Так называемой «общей части» в нем почти нет. Нет и системы. Победоносцев избегает и «опасается вводить мысль в построение институтов»... И здесь основная двусмысленность его воззрения. Вся эта защита непосредственного чувства у Победоносцева построена от противного. Сам он всего меньше был человеком непосредственным или наивным. Всего меньше сам он жил инстинктом. Сам он весь насквозь отвлеченность. Это был человек острого и надменного ума, «нигилистического по природе», как о нем говорил Витте. Это был разочарованный скептик. И в самом себе он ощущал весь этот холод отвлеченной мысли. От него он ищет противоядия в народной простоте. От собственной безытности он хочет укрыться в быте, вернуться к «почве»... И когда он говорит о вере, он всегда понимает *веру народа*, не столько *веру Церкви*. Не догматическую веру, не учение веры, но именно «простую веру», т. е. чутье или чувство, некий инстинкт, пресловутую «веру угольщика». И самая Церковь для него есть прежде

всего «живое, всенародное учреждение»... В православной традиции он дорожил не тем, чем она действительно жива и сильна, не дерзновением подвига, но только ее привычными, обычными формами. Он был уверен, что вера крепка и крепится не-рассуждением, а искуса мысли и рефлексии выдержать не сможет. Он дорожит *исконным и коренным*, больше чем истинным. «Старое учреждение тем драгоценно, потому незаменимо, что оно не придумано, а создано жизнью». И этого органического авторитета, очевидно, ничем нельзя заменить: «потому что корни его в той части бытия, где всего крепче и глубже утверждаются нравственные узы, — именно в *бессознательной* части бытия» (срв. у Бёрка его теорию «давности», prejudice and prescription). Поэтому и легендарный образ надежнее ясного понятия. В легенде есть сила жизни, а понятие бессильно... Безотчетное чувство правдивее и надежнее, чем любознательный разум... Богословия Победоносцев решительно не любил и боялся, и об «искании истины» отзывался всегда с недоброй и презрительной усмешкой. Духовной жизни не понимал, но пугался ее просторов. Отсюда вся двойственность его церковной политики. Он ценил сельское духовенство, немудреных пастырей наивного стада, и не любил действительных вождей. Он боялся их дерзновения и свободы, боялся и не признавал пророческого духа. Его смущали не только Влад. Соловьев или Толстой. Еще больше его тревожили такие подвижники и учителя духовного делания, как Феофан Затворник и даже о. Иоанн Кронштадтский. Победоносцев не хотел общественной и культурной влиятельности иерархии и клира, и властно следил за выбором епископов, не только по политическим мотивам, не только ради охраны правительственного суверенитета. Это расходилось и с его личным религиозным опытом и идеалом. За Победоносцевым остаются его заслуги: основание церковно-приходских школ, строительство благообразных сельских храмов, издательство благочестивых книг и молитвенников для народа, забота о благочинном пении в церквях, материальная помощь духовенству, усиление церковной благотворительности. Он сумел понять и оценить С. А. Рачинского и его «сельскую школу». Но с Рачинским он разделял и его основную ошибку. «Сельская школа» должна была быть окончательной школой, не следует внушать ученикам беспокойного и тщеславного желания идти дальше, искать высшего или другого, и тем колебать устои социальных группировок. Народной школе Победоносцев усваивал роль охранительного учреждения: «содержать людей в строгом подчинении *порядку общественной жизни*». Школа должна не столько давать «общее развитие», сколько

развивать навыки и умения в строгом соответствии наличной среде, — иначе сказать, она должна быть сословной и полупрофессиональной. И Победоносцев никак не хотел идти дальше этих начатков прикладного полупросвещения, — «ограждать священные заветы предков», и это все. Он не хотел религиозного пробуждения народа, он не хотел творческого обновления Церкви. Он боялся, что религиозное просвещение поведет к протестантизму. И, как замечает Н. П. Гиляров-Платонов, «опасение протестантизма и вольномыслия повело к обскурантизму». Победоносцев верил в *охранительную* прочность патриархальных устроев, но не верил в *созидательную* силу Христовой истины и правды. Он опасался *всякого* действия, *всякого* движения, — охранительное *бездействие* казалось ему *надежнее* даже *подвига*. Он не хотел усложнения жизни, — «что просто, только то право», — и в этом пафосе исторического неделания он неожиданно встречается с Л. Толстым. При всем различии исторического настроения и темперамента они сближаются в исходных предпосылках, как близки были идейно Руссо и Бёрк... Передают, «не надо», это был привычный ответ Победоносцева. Ему приписывают этот поразительный афоризм о России: «ледяная пустыня, и в ней ходит лихой человек». Россия потому и представлялась ему пустыней, что он не умел узнавать добрых людей. Он не верил людям, он не верил в человека. Он страдал «историческим унынием», подозрительностью и маловерием. И сам он был ледяной человек. Ив. Аксаков остроумно писал ему еще в 1882 г. «Если бы в те времена спросили тебя: созывать ли вселенские соборы, которые мы признаем теперь святыми, ты представил бы столько основательных критических резонов против их созыва, что они бы, пожалуй, и не состоялись... Исторгая плевелы, не следует исторгать и пшеницу, и лучше не исторгать плевел, чтобы не исторгнуть хотя бы один колос пшеницы... Так и во всем. Твоя душа слишком болезненно чувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему *живому*, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши. Но без этого ничто живое в мире и не живет, и нужно верить в силу добра, которое преизбудет лишь в свободе... А если дать силу унынию, то нечем будет и осолиться»... Так показательно, что Победоносцев не сумел почувствовать серафической святости преподобного Серафима Саровского. Здесь он расходился и с самым благочестивым «чутьем» народа... Он веровал не от исполнения сердца, а от испуга. У него было больше презрения к человеку, чем даже негодования. Розанов верно назвал его известный «Московский Сборник» *грешной книгой*, — это грех

уныния, безверия и печали... В том парадокс, что сам Победоносцев был не так далек от своеобразного протестантизма. Он всем сердцем принимал Петровскую реформу. И при всем своем отвращении к современной западной цивилизации, либеральной и демократической, он оставался западным человеком. Характерно, что он переводил все западные книги: А. Тирша, Христианские основы семейной жизни (1861), Фому Кемпийского (1869), Ле Пле (1893). Характерен и выбор авторитетов в его известном «Московском Сборнике» (перв. изд. 1896), — Карлейль, Эмерсон, Гладстон и даже Герберт Спенсер, и из романтиков — Карус с его книгой о душе. Победоносцева остроумно сравнивали с «круглоголовыми», — тот же дух законничества и нетерпимого морализма. И, подобно суровому английскому Протектору<sup>1</sup>, Победоносцев хотел властвовать в Церкви ради народного блага. Мистической реальности Церкви он как-то не чувствовал. Он был типичным «эрастианцем<sup>2</sup>» в своей деятельности. И вселенских перспектив у него не было. Всего характернее в этом отношении его опыт «усовершенствовать» русский текст Нового Завета на основе «славянского подлинника», и без обращения к греческому (этот опыт совсем не удался, даже стилистически)... Победоносцев был бесчувственно нетерпим не только к инославным. Еще деспотичнее был он в «господствующей» Церкви. И ему почти что удалось создать вокруг себя эту жуткую иллюзию ледяного покоя. Конечно, далеко не все в Церкви поддавалось его энергичной регуляции. Но правительствующее значение обер-прокурорской власти в «ведомстве православного исповедания» при нем еще возросло. Настойчивость Победоносцева часто объясняется его страхом пред надвигающейся революцией, и его сравнивают с Конст. Леонтьевым. Сравнение неточно. Леонтьев в одном из своих писем 80-х годов осудил со всей беспощадностью все это «бездарное безмолвие» испуганных охранителей. Он ясно видел, что ограничить всю жизнь Церкви одним охранением «значило бы обрекать Церковь почти что и на полное бессилие». Запрет не есть средство убеждения. «Положим, что нам сказано: “под конец” останется мало “избранных”, но так как нам сказано тоже, что *верного* срока *этому концу* мы знать не будем до самой *последней* минуты, то зачем же нам преждевременно опускать руки и лишать Церковь всех тех *обновляющих* реформ, которыми она обладала в ее лучшие времена, от сошествия Св. Духа до великой победы иконопочитания над иконоборчеством и т. д., и т. д.». И Леонтьев настаивает, что теперь время богословствовать, в особенности же мирянам. *Личную жизнь* нужно связать *послушанием*, и вполне подчинить

воле избранного старца. Но *ум* должен оставаться *свободным*, конечно, в пределах догмата и предания. Ведь есть *новые вопросы*, и о них подобает писать мирянам, исследуя пути... Для Победоносцева не было таких «новых вопросов», которые бы стоило решать. Вопросать опасно. Он избирал именно то «бездарное безмолвие», которое Леонтьев осуждал. Победоносцев не хотел, чтобы о вере размышляли и говорили. Он был не только пессимист, но и скептик, — он соблазнялся не только о неправде, но и о самой истине христианской... Первой пробой новой церковной политики было снова преобразование духовной школы. Толстовская реформа 60-х годов<sup>3</sup> и действительно не была вполне удачной. Ревизия духовных академий преосв. Макарием в 1874 году обнаружила и в академической жизни значительные пробелы и недочеты. В 1881 году при Св. Синоде была образована комиссия для нового пересмотра уставов под председательством Сергия Ляпидевского, вполн. митрополита Московского, с участием представителей от академий и от Учебного Комитета. Предлагалось вернуться к прежней, ведомственной или служилой, точке зрения на духовную школу. Раздавались голоса и в пользу простого восстановления прежнего устава. Организация IV курса с его чрезмерной специализацией была признана неудачной. Решено было отменить приват-доцентуру и вместо того «оставлять при академии» лучших кандидатов для научных занятий. Любопытно, что преподавание патристики снова объявлялось излишним. Но было признано желательным восстановить преподавание естественно-научной апологетики. В. Д. Кудрявцев предлагал еще ввести преподавание нравственной философии и философии права. Важным решением была *отмена публичности* академических диспутов, несмотря на голоса в пользу гласности. «Предметы веры делаются поприщем словопрения», говорил арх. Сергей. Комиссия имела 32 заседания и заканчивала работы уже в неполном составе, без иногородних. Проект был внесен в Синод в марте 1883 года. Для его рассмотрения было образовано особое совещание из трех синодальных архиереев: митр. Иоанникия, Леонтия, вполн. тоже митрополита, и арх. Саввы. Окончательный «Устав» был разработан в строжайшей тайне, по-видимому, в канцелярии Обер-Прокурора, и проведен через Синод с крайней поспешностью, без всякого обсуждения. «Митрополиты Исидор и Платон подписали, не взглянув даже в переписанную набело тетрадь, преосвящ. Ионафан, не участвовавший в нашей комиссии, хотел было прочитать этот проект, но это ему не удалось». Так рассказывает арх. Савва. Он сам не со всем соглашался в комиссии и просил дать ему

возможность представить свои соображения на усмотрение Синода, — это желание не было уважено, а вскоре арх. Савва и вовсе был освобожден от присутствия в Синоде. Академический Устав был утвержден 20 апреля 1884 г., и подлежал введению уже с осени того же года. Академический строй был очень серьезно изменен. Усиливалась власть Епархиального епископа над академией и ректору возвращалось его начальственное положение, он не должен был читать больше двух лекций в неделю. Отделения были упразднены и только второстепенные предметы были сведены в группы, которые предлагались на выбор. Специализация на IV курсе отменялась. Выпускное сочинение нужно было писать на тему *богословского* содержания (правило это, впрочем, на деле не соблюдалось слишком строго). Очень характерно, что отменялась публичность академических диспутов. Степень доктора и вообще присуждалась теперь без защиты диссертации, по одному только отзыву рецензентов; вводилось различие докторской степени: богословия, церковной истории или канонического права. Магистерскую диссертацию предоставлялось защищать на «коллоквиуме» в заседании академического Совета расширенного состава, с участием «и приглашенных Советом сторонних лиц», но *не* на *публичном* диспуте. Нужно было избегать открытого спора, разногласий, напрасной гласности. И открытым возражением ведь только привлечешь излишнее внимание к противнику. Победоносцев боялся привлекать внимание к религиозным вопросам, он боялся споров и несогласия. Он сомневался, готова ли Церковь к самозащите. Он предпочитал ее ограждать извне государственной опекой и силой. Победоносцева скорее беспокоило пробуждение религиозных интересов в русском обществе. Он ценил религию, как быт, но не как искание... Впрочем, в 70-х годах он и сам принимал довольно деятельное участие в работах «Петербургского отдела» уже раньше существовавшего в Москве «Общества любителей духовного просвещения»<sup>4</sup>. Этот «отдел» был открыт в 1872-м году, всего больше, в связи со старо-католическим движением. Связь с Москвою была скорее только по имени. Почетным председателем отдела был вел. кн. Константин Николаевич, среди членов преобладали миряне, все больше из высшего круга. Из духовных лиц нужно назвать протоиереев Янышева, Васильева, П. Е. Покровского. «Отдел» при самом открытии получил важное преимущество: дозволение «в своей среде», т. е. в непубличных заседаниях, *свободно* рассуждать о делах Церкви. Первым обсуждался старокатолический вопрос. «Отдел» издавал свои протоколы по-русски и во французской редакции. В 70-х годах это



был очень значительный очаг богословских интересов. Своим правом «свободного» обсуждения отдел пользовался широко и касался на своих собраниях вопросов, действительно, сложных и тонких. И кроме того, устраивались публичные чтения. Нужно отметить выступление Т. Филиппова на тему «о нуждах единоверия» и его спор с И. Нильским (в 1873 и 1874 гг.), тезисы Ф. Г. Тёрнера о свободе совести и воспитания (в начале 1876 г.), чтения о. И. Л. Янышева о свободе совести и «о сущности христианства с нравственной точки зрения», чтения Ф. Г. Тёрнера о христианском и новых философских воззрениях своего времени. К этому кругу в конце 70-х годов был близок и Влад. Соловьев, переселившийся тогда в Петербург. Нужно отметить и его известные «Чтения о богочеловечестве» (в 1878 г.)... В 80-х годах, при Победоносцеве, такие собрания стали уже невозможны... Победоносцев не сочувствовал и свободе богословской печати. Лучшие из богословских изданий под давлением духовной цензуры в начале 90-х годов прекращаются: «Православное обозрение», «Чтения Московского общества любителей духовного просвещения», даже «Прибавления» Московской академии. Правда, основываются и новые журналы: «Вера и Разум» в Харькове с 1884 года (инициатива арх. Амвросия Ключарева), «Вера и Церковь» в Москве (с 1899). Но чувствуется принужденная осторожность во всем. Победоносцев сочувствовал развитию изданий для народа. Возникает ряд журналов: «Воскресный день» (издавал свящ. С. Уваров), «Кормчий», «Пастырский собеседник» (изд. Маврицкого), «Русский паломник» (под ред. А. И. Поповицкого, несколько неожиданная замена «Церковно-общественного вестника»), — сюда же примыкают и неперіодические «Троицкие листки», издаваемые архимандритом Никоном, впоследствии епископом Вологодским. Значение этих изданий не следует принижать. Однако, жанр богословской литературы несомненно снижается до уровня простой назидательности. В действительности это было отступление Церкви из культуры. Спорные вопросы, во всяком случае, снимались. И естественно, что на них искали ответов на стороне. Влиятельность Церкви этим несомненно подрывалась. Только под знаком «назидательности» и могло развиваться в Петербурге «Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви», основанное уже в 1881-м году (по почину петербургских протоиереев Д. Я. Никитина и М. И. Соколова). Следует отметить еще новые миссионерские журналы: «Братское слово», под ред. Н. И. Субботина (возобновляется в 1883), «Православный благовестник» (с 1893 г.), «Миссионерское обозрение» (с 1896 г.).



Выдвигались всего больше нравственные темы. И все сильнее чувствовалось желание на всякий вопрос давать готовый ответ, внушать впечатление совершенной законченности православного мировоззрения, устранять всякую возможность «недоуменных вопросов». «От настоящей серьезной борьбы за Православие мы избавлены государственной опекой», справедливо говорил Влад. Соловьев... Победоносцева смущал усиленный приток учащихся в духовные академии, усилившийся в особенности после того, как семинаристам был закрыт доступ в университеты. Своекоштные студенты жили по частным квартирам, что затрудняло инспекторский надзор и наблюдение. Было издано новое распоряжение, предоставлявшее своекоштным студентам жить только в академических общежитиях, поскольку то позволяет «вместимость зданий». Но и вообще многолюдство студентов в академиях казалось напрасным и беспокойным: для замещения освобождающихся учительских должностей в семинариях и духовных училищах кандидатов и так слишком достаточно. Любопытно, что о желательности высшего богословского образования для пастырского служения упомянуть забыли. Это был прямой возврат к служилой точке зрения на богословскую школу. В 1887-м году было сокращено и число казенных стипендий в академиях. Общее количество учащихся вскоре упало почти вдвое... В 1889-м году были изданы особые «Правила для рассмотрения сочинений, представленных на соискание ученых богословских степеней». Это очень любопытный документ. Для мировоззрения Победоносцева он в особенности характерен. Все предполагается решенным. И главная задача полагается в предупреждении и пресечении богословской неблагонамеренности. Предлагалось обращать внимание не только на ученые достоинства сочинений, «но и на соответствие общего направления их с духом и достоинством Православной Церкви». Требовалось при этом, «чтобы сочинения заключали бы в себе *такую полноту и определенность* изложения по данному предмету или вопросу, *при которой не оставалось бы сомнения* в истинности православного учения, а также *такую точность* выражений, которые *устраняли бы всякий повод* к ложным вопросам». Запрещалось принимать на соискание ученых степеней сочинения о еретиках и «ложных учениях», так как вредно слишком долго задерживаться вниманием на подобных темах. В особенности же недозволительно усматривать в ересях какое-то «единство идеи» (срв., напр., попытку Влад. Соловьева в «Великом споре» вывести все ереси из одного начала); наоборот, следует вскрывать нелепость и бессвязность ересей, — точно не может быть последователь-

ности ложного принципа. «Не могут быть признаны соответствующими требованию ученого богословского сочинения такие труды, в которых отрицается, *хотя бы и с видимостью научных оснований* достоверность таких событий, к которым церковное предание и *народное верование* привыкли относиться, как к достоверным событиям». Здесь имелось в виду, прежде всего, известное сказание о хождении ап. Андрея на Руси, совершенная недостоверность которого была показана Голубинским, и его же критика летописного рассказа о крещении князя Владимира. Запрещалось «неблагоданмерно выставлять в ложном свете какие-либо учреждения и установления отечественной Церкви», — здесь имелись в виду исследования о происхождении старообрядческого раскола, о старом обряде, о Петровской реформе. Запрещалось объяснять церковно-исторические события игрою естественных только причин, человеческими побуждениями и стремлениями, часто темными, влиянием школ и направлений, находить черты благородства у еретиков и язычников и темные пятна у людей благочестивых и т. д. В результате Голубинский должен был отказаться от печатания II-го тома своей истории и даже выйти из академии, Каптерев должен был остановить свои статьи о п. Никоне, С. Н. Трубецкой подвергся очень резким нападкам за свою диссертацию о «Метафизике в древней Греции», где он довольно осторожно и сдержанно говорил о «евангельском приготвлении» в эллинизме... Мерило ограждения предлагалось, во всяком случае, очень растяжимое: нужно было считаться не только с *церковным* преданием, но и с *народным* верованием. И всегда можно было сказать, что та или другая книга имеет *не «строго — богословский характер»*, или *«не вполне точно выражает учение православной церкви»*, и что то или другое рассуждение «по своей неясности и неопределенности» *может быть*, особенно *несведущими* читателями, *понято превратно*. О всей двусмысленности подобных опасений еще в свое время резко сказал Филарет Гумилевский. «Боятся крика невежд! их не заставишь молчать тем, что будешь кричать неправду; правда сама себе защита, а подмостки человеческие годны только на то, чтобы их сломило время»... Но Победоносцев в том именно и не был уверен, что «правда сама себе защита». Она ему всегда представлялась скорее беззащитной... «Правила 1889 года», это был больше акт *государственного и бытового* охранения, чем церковного консерватизма. Это был акт Синодальной *бюрократии*, — *не иерархии*... Особенно характерно было осложнение с магистерской диссертацией Е. П. Аквилонова, тогда доцента Петербургской академии, впоследствии протопресвитера

военного и морского духовенства. В 1894-м году он представил на соискание степени магистра исследование о Церкви: «Церковь, научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о теле Христовом». По-видимому, тема эта была подсказана Аквилону его руководителем, Катанским, и он только развивал мысли учителя. Рецензируя представленную диссертацию, Катанский оценил ее высоко и отметил, между прочим, что «автору удалось доказать несостоятельность обычного определения Церкви». Разумеется, катехизическое определение Церкви, как «общества человек» (в «Православном Исповедании» *определения Церкви нет*, как нет и в «Послании восточных патриархов»). Аквилон показывает недостаточность этого позднего и школьного определения. Вернее сказать, это и не определение, но только описание, и очень неполное. Ибо Церковь есть не только общество, но и организм, или «тело», и к ее составу кроме человек принадлежит и сам Христос, ее Глава, в котором Церковь и едина. «Тело Христово», этот апостольский образ или имя есть лучшее определение. Это вполне подтверждается и свидетельством отцов. Аквилон удачно подобрал в своей книге важнейшие тексты. Из русских авторов он всего ближе к Филарету (по его проповедям) и к Хомякову. Выковать полное определение Церкви Аквилону не удалось. Он дал только многословный пересказ этого основного имени: «тело». И вообще его книга написана языком вялым. Но она могла послужить надежным введением в дальнейшее исследование. Смущало только то, что в первой же главе Аквилон слишком решительно ниспровергает «принятое» определение Церкви, как «общества». Показалось спорным и то, что в состав Церкви он включал и ангелов. Иное в книге и действительно было недосказано... В ученых степенях утверждал свят. Синод и обычно кому-нибудь из епархиальных архиереев поручалось рассмотреть диссертацию со стороны вероучительной благонадежности. Книга Аквилонова была передана на заключение Виссариона Нечаева, епископа Костромского, бывшего перед тем долгие годы издателем «Душеполезного Чтения». Виссарион присоединился к отзыву академических рецензентов и высказал пожелание об исправлении определения Церкви в Катехизисе. Это пожелание вызвало в Синоде беспокойство. И в то же время против книги Аквилонова выступили единоверческий архимандрит Павел Прусский и проф. Н. И. Субботин, доверенный корреспондент Победоносцева. Они говорили от лица «простых верующих». Еп. Виссарион настаивал на своем заключении. Победоносцев охранял «народные верования». Вопрос разрешился тем, что московский митрополит Сергей (при

неожиданной поддержке епископа Сильвестра) отыскал в книге Аквилонова самый опасный рационализм. Автору пришлось писать вторую диссертацию... В этом эпизоде характерно искривление перспективы: более охранялась неприкосновенность катехизиса, чем верность действительному отеческому преданию, и всего более во внимание принимались настроения ревнителей из простецов. Из этих соображений, очевидно, в «правила 1889-го года» был внесен и тот параграф, чтобы богословские книги писались таким образом, чтобы быть доступными и лицам, вовсе не знающим по-гречески (это было против цитат из отцов в подлиннике)... Запретительная политика Победоносцева оказалась вдвойне бесплодной. Внутреннего успокоения он не достиг. Ему удалось создать иллюзию покоя. Но это было достигнуто дорогой ценой. Создавалась привычка лукавого умолчания. Непринятых мнений держались про себя. В духовной школе и в богословской литературе устанавливается неискренний и неживой стиль. Основная неправда запретительного режима в этой неискренности и коренится. И в духовных школах система запретов и приказов создала только дух запертательства и двуличия. «Либерализма» и «сомнений» из духовной школы, конечно, Победоносцев совсем не вывел, но приучил учащихся и учащихся скрывать свои действительные мысли. А насильственное удержание духовных воспитанников в духовном ведомстве отравляло той же неискренностью и самое священство. Это, конечно, общая характеристика, и исключений всегда бывало достаточно. Но, несмотря на все запретительные меры, «неблагонадежные» богословские взгляды все-таки распространялись, а невозможность публичного обсуждения означала ведь и невозможность открытого опровержения. Блестящая книга московского профессора М. Д. Муретова против Ренана была остановлена цензурой, так как для опровержения ему нужно было «изложить» опровергаемое «лжеучение», что не представлялось благонадежным. Ренана продолжали читать втайне, а книга против Ренана опоздала лет на 15. И создалось впечатление, что причина запретов в бессилии защищаться. К тому же, слишком часто пробовали защищать то, чего нельзя было защитить. Это очень подрывало доверие. Падал дух, когда призвание учителя подменялось должностью стража. Но и этого мало. Вся система была изнутри отравлена едким скептицизмом. В свое время граф Протасов уже пробовал приспособить духовное образование к сельским нуждам. Но Протасов был в Синоде только «добрый офицер» и руководился соображениями государственной пользы или ненужности. Победоносцев же был скептиком и интеллигентом. Задание

сельского «опрощения» для него означало совсем иное. Если он и говорил обычно о пользе или нужде, то в действительности он всегда думал об *опасности* «чрезмерного» образования. И к идее упрощения он приходил даже и не от пафоса власти, но от самого ядовитого безверия. Поэтому он хотел ослабить «общеобразовательный» элемент в духовной школе, — зачем для священника какая-нибудь алгебра и геометрия... Опасности образования он хотел предотвратить внешним запретом, не рассчитывая победить или преодолеть их открыто и изнутри. И таким образом полусознательно он оттеснял живые вопросы из церковного кругозора, оттеснял их у спрашивающих под порог сознания, отравлял их горечью запрета. Для этого маловерного консерватизма так характерна реплика Розанова в одной из его статей 90-х годов. «Допустить обсуждение истин своей веры Церковь не может, — не по боязни их колебания, но по *отвращению* к подобному обсуждению,... отступающий от Церкви для нее презрен, до невыносимости его видеть»... Здесь Церкви навязываются совсем не евангельские чувства и мотивы. И предполагается, что она действует скорее, как карательная власть, чем как врач и учитель. И такое исступление принималось и выдавалось за ревность о вере... Но оно обречено было на бесплодие. Ненависть не рождает, но только любовь. И как часто ненависть только прикрывает страх и бессилие... Совсем был забыт образ Доброго Пастыря: «оставляет девяносто девять»... Однако, охранительный яд проникал еще глубже. И здесь было сознательное снижение религиозного уровня, «опрощение» самого православия... Победоносцеву удалось внушить русскому духовенству, что «богословие» не принадлежит к существу православия, «русского православия», во всяком случае, т. е. русской «простой» и народной веры, ибо ведь массы этого «простого народа» спасаются без всякого богословия и без всяких размышлений и культуры, и «спасаются» вряд ли не надежнее, чем умствующие и пытливые чрез меру интеллигенты. Вера сдвигалась таким образом и снижалась до уровня безотчетных чувств и благочестивых настроений. Догматы же воспринимались скорее в каноническом, чем в богословском порядке, как ограждающие слова, не как животворящие истоки. И, строго говоря, это было только своеобразным приложением типических доводов Льва Толстого к новой области церковной культуры. Толстой отрицал всякую значимость культурных благ именно на том основании, что они совсем не нужны сельскому обывателю, — ни техника, ни Шекспир, ни самое книгопечатание. И отсюда заключал, что вся эта культура есть очевидный излишек, даже излишество, созданное празднос-

тью человека, ибо для жизни она не необходима, без нее вполне можно прожить, а в ней жить трудно и сложно... Почти те же доводы теперь и приводятся в защиту «простой веры». Ведь баба-богомолка, или мужик-начетчик, или благочестивый странник, или монах «из простых», все они совсем не нуждаются в «ученом» богословии или какой-то философии, или в исторических исследованиях, которых не понимают и знать не хотят, и без них живут правильно и честно. Не приходится ли заключить, что вся эта богословская и философская «проблематика» есть только плод напрасной искательности и любопытства умов праздных и беспокойных. «Для спасения» она не требуется... Победоносцеву удалось внушить это подозрение к «богословствующему разуму» тем легче, что оно отвечало упадочным и нигилистическим настроениям эпохи. Позитивизм подорвал доверие к сверхопытной метафизике, «агностицизм» стал привычной умственной позой для среднего человека, и под такое же агностическое воздержание подпадали и догматические истины. С мирским агностицизмом перекрещивается теперь и аскетический. Под предлогом смирения и непостижимости внимание верующих от догматов отвлекается, — как постичь их слабым разумом!.. Но смирение так часто только прикрывает равнодушие или даже маловерие. И непостижимость божественных истин преувеличивается вряд ли не с лукавым умыслом, с расчетом уклониться от догматической акривии и неправо младенчествовать умом. Внутренним итогом такого двоякого агностицизма неизбежно оказывается догматическая растерянность и нестойкость, искушение морализмом. Сердце отвыкает жить и питаться догматом, напрасно огражденным, и догмат оказывается духовно как бы ненужным. Так с 80-х годов в нашем церковном сознании подымается новая волна морализма, сентиментализма, пиетизма. Обличение рассудочности и рационализма в своей чрезмерности оказывалось не безопасным и для самого учения веры. Больше ценились добрые чувства и еще дела. Слишком многое в учении веры начинало казаться каким-то напрасным тонкословием. Пусть лучше душа останется в полусвете, но соблазнам беспокойного ума не будет дано лишнего повода. Вера истолковывается скорее как доверие, чем как опыт духовной жизни... И к этому присоединяется еще один и очень важный фактор. Духовенство оставалось сословным и в большинстве выходило именно из рядов «сельских обывателей», и для них деревенская нищета и простота слишком часто оставались и потом самой привычной и самой понятной средой. Отсюда и своеобразная несвобода в обращении с культурными ценностями: наивная склонность к внеш-

ней цивилизации и внутренняя непривычка жить «в культуре», в обстановке творческого напряжения. Не у всех развивалась и самая потребность в культуре. Из этого общего уклона было немало исключений. Однако, общий стиль несомненно был сниженным. Сословное обособление духовенства всего более отделяло и отделяло Церковь от культуры... Так складывался этот сниженный тип православной церковности, упрощенный и очень обессиленный. Это было к тому же и очень опасным анахронизмом, было совсем несовременным в эпоху, когда уже начиналось возвращение интеллигенции в Церковь, когда религиозная пылкость становилась все острее. «Со страхом и стыдом пойдем мы отдавать отчет в нашей лености, в нашем нерадении, в том, что *сдали веру свою в Синод*, да и сидим сложа руки», — так резко писал в 80-х годах А. А. Киреев. И оговаривался, что к «народу» это не относится. «Народ наш ни в какую канцелярию, ни в какой синод своей веры не сдавал»... Попытка обойти вопрос запретами окончился трагическим срывом, — оттесненные страсти и сомнения в свой час неистово прорвались из темных глубин. То было точно возмездие... И к этому вполне приложимо слово Тютчева, сказанное по другому поводу: «Его погубит роковое слово: свобода совести есть бред»...

